

НАД СТРАНИЦАМИ
СОВЕТСКОЙ КЛАССИКИ

О ШОЛОХОВЕ, о его творчестве во всем мире написано и сказано очень много. И будет еще сказано. И будет еще написано.

Каждый имеет право на свое отношение к тому, что он читает и что уже прочитал. А что такое каждый? Человек, поколение, народ? Год, десятилетие, век?.. Каждый будущий век наверняка тоже будет иметь свое особое, личное отношение к прочитанному, свой выбор, свою оценку. А то, что написал Шолохов, я уверен, — не только на каждый год, но и на каждый век.

«Тихий Дон». Я уж и не помню, сколько раз я его перечитывал. И всякий раз для меня он и впрямь, как большая река, впадал не в море просто, а сразу в Мировой океан. И никакой он не тихий, как всякий раз выяснялось, этот шолоховский «Тихий Дон». Пороховой, грозовой вест: клинок в клинок, пуля в пулю. Нежность и страшная жестокость — все вместе. А сколько событий, сколько бездн и вознесений в нем! Как ни гляди — все равно всего не увидишь, как ни переживай — все равно всего не переживешь. А сколько сомноженной, мучительной мысли во всем! Время физически ощутимо, как ветер на лице.

Он для всех возрастов, «Тихий Дон». Его с увлечением можно читать и в 17, и в 30, и в 40, и в 60 лет... Так он глубоко содержателен, так он неутолимо необходим. И в этом его основная сила. Основная, но далеко не единственная. «Тихий Дон» — многословный роман, эпопея многих сил, круто сплетенных, как потоки в большой реке: нельзя разорвать, а расплести тем более.

И, пожалуй, первая из пер-вых среди этих сил — сила абсолютной художественности. Шолохов — художник, художник и еще раз художник. Риторическое вообще ему противопоказано. Мысль Шолохова — не просто фраза, не просто то или иное общее высказывание, мысль Шолохова — это обязательно характер, образ, лицо мысли. Жест. Конфликт. Направление и социальный градус конфликта. И за всем этим и во всем этом — обязательно сама красота. Красота любви, красота труда, красота природы, красота мучительной торжествующей правды... Словом, как мыслитель Шолохов — не

столько над образом, даже не столько рядом с ним, сколько в самом образе, во глубине течения самого слова. Его философия, его публицистика всегда, как соль в крови, растворены в образе без остатка.

И это явление шолоховской природы, его манеры, стиля — редкость мирового выбора. У него даже высказывание как изображение. Изображенное чувство, изображенная мысль. А это всегда — доказательство.

Помните встречу Григория с Аксиньей в горнице? Аксинья спрашивает Григория уехать в город, на шахты. А что Григорий?.. А Григорий,

своеобразная его хромосома. Она — во глубине всего организма романа, в его живой ткани, в каждой его образно-словесной клетке. Все там ею обусловлено, все там ей подчинено. Сознание творца предвидело, предчувствовало эту формулу еще до того, как она потом была построена и по-сторонично развернута — а это значит и доказана — в натурально полноценных образах и характерах романа. Каждый образ, каждый характер — это определенная идея. Алеся — совесть. Иван — мысль, отвергающая совесть. Дмитрий — страсть, не всегда послушная мысли. А какую же философскую нагрузку несет в себе Смердяков? Что его толкнуло к убийству отца, Карамызова-старшего? Алчность? Нет. Он же не воспользовался деньгами после убийства. Толкает его к этому, как мне кажется, самое страшное — абсолютное бесправие. Он весь вне закона, вне какого-либо права

мо по себе уже наказание. Мысль же без нравственного повода и опоры сама по себе разрушительна, даже опасна. Бесплодна и бездействующая совесть. А большой любви достойны лишь совесть, простодушие, бесхитростная страсть, бескорыстное добро. Вот формула романа, его вездесущая хромосома. Во всяком случае, так она мне лично представляется.

А теперь давайте вернемся к Шолохову. Разве в его романе «Поднятая целина» нет своей хромосомы? Конечно же, есть. И причем довольно сильная, точная хромосома. Взять хотя бы расстановку противоборствующих фигур: с одной стороны — три и с другой — три. Белогвардейцы — Половцев, Лятевский, Островнов — делают все для того, чтобы исподволь подготовить, а затем, воспользовавшись ошибками Советской власти, произвести контрреволюционный взрыв на Дону в масшта-

свой любовь, свой ключик к сердцу мужчины, своя статья, — помните, как говорит, озоруючи, Лушка: моя нога подо мной? — выходка своя, своя искорка-озорника в крови... Градус любви — и тот разный, хотя по яркости чувств, по жаркой отдаче своей одинаково высок. Лушка, по-моему, в чем-то погорячей, поозорней даже. Да и вообще, какой бы мы образ ни взяли у Шолохова — Григорий ли это, Подтелков или, скажем, тот же Майдаников Кондрат, — все они не только по отдельности значительны, но и в общем ряду неповторимы. Давыдов, Нагульнов, Разметнов — какие они в одном деле общие и какие при этом разные все! Разные не только ростом, походкой, норовом, лицом, но и, конечно же, определенной авторской мыслью в себе. Давыдов не просто сам по себе Давыдов, слесарь-матрос. За ним еще и целый класс стоит — питерский пролетариат и красные моряки Балтики. Стоит их

котором, как ни в каком другом в мировой литературе, по великой воле автора наглядно явлено миру живое представление народа о диалектике, как о самом наихудейшем постоянном спутствии простого — сложному, слабого — сильному, по-детски наивного, дурашливого — значительному, важному. И причем заметьте: наивность — категория не только личная, биографическая, но и историческая. Она — черта народная. Как опыт показывает, этой чертой — то есть чудинкой разной и разной там якобы простотой — проверялись и перепроверялись в народе куда как непростые дела людские и события. Проверялись на истинность, на долговечность. Не в этом ли секрет и деда Щукаря?

Несколько слов о товариществе. Прямых высказываний на этот счет в романе нет. Шолохов, как я уже говорил выше, предпочитает показ пересказу, наглядность — пояс-

Но только, повторяю, между делом.

Другое дело — дело. Тут дисциплина должна быть. Партийная. Государственная. И никакого панибратства! И никаких ложно дружеских уступок и послаблений. Дружба дружбой, а служба службой. Помните, как тот же Нестеренко, сидя на кургане рядом с Давыдовым, строго, партийным тоном высказывает с него за все ошибки и недочеты хозяйственного и политического порядка? А ведь всего лишь каких-нибудь десять — пятнадцать минут назад он, секретарь, ровней с ним был, боролся отчаянно. И даже на лопатках побывал. Ничего. Все как в той присказке-поговорке: делу время, потехе час.

И второй эпизод — тоже, кстати, не менее примечательный — это когда Давыдов, распаленный известием о том, что его казаки-колхозники, вместо того чтобы косить травы в лугах, играют там в подкидного, а бабы в церкву ушли, — бурей насккивает на играющих. Да хорошо еще, что конь на подстилку наступил — на дыбы перед играющими поднялся, а то бы и стоптать ненароком мог. И хорошо, что Устин вовремя под уздцы его взял — осадил резко. И не только его осадил — всадника самого: дескать, не гоже тебе так, председатель. Горячиться-то горячись, но грани не переступай. Власть то не только твоя, но и наша совместная, Советская. И казачьи наскоки на нас, вроде тех дореволюционных, питерских, не к лицу тебе, большевику. Вот так его осадил. И Давыдов не обиделся — признал его правоту над собой. Остыл, даже в картишки с колхозниками поиграл, как бы прощения тем самым попросил. И за это его казаки трижды, можно сказать, зауважали, как будто заново в председатели выбрали. Вот — поворот.

И, наконец, одно общее соображение. Шолохов далек от Чехова. Далек материалом, стилем письма, тоном, атмосферой слога. Это, конечно, так. Но вот способность малыми средствами на небольших площадях создавать большие характеры — черта более чем бесспорная. Демонстрацией тому — кинематограф. У Шолохова, так же как и у Чехова, даже самые малые вещи широко и хорошо идут на экране. Возьмите хотя бы «Донские рассказы». Это как раз и говорит о большой литературе.

...Будучи недавно во Вьетнаме, я впервые увидел южную океанскую волну. Она такая же, как морская. Черноморская, скажем, каспийская. Но только без чувства второго берега. Она как из неба прямо, из вечности. Так и глагол Шолохова.

Егор
ИСАЕВ

ГЛАГОЛ ШОЛОХОВА

еще юноша тогда, вдруг неожиданно, по-зрелому в раздумье говорит: а как же быть с землей?.. Простая, казалось бы, сцена, бытовой разговор, а как он далеко достает-задевает... До наших дней достает.

Григорий — это не только живой образ, характер, но и великая мысль художника, выстраданная в этом образе, в этом характере.

Не будучи профессиональным литературоведом, специалистом по шолоховскому творчеству, я все-таки как читатель возьму на себя смелость сказать еще и вот о чем: Шолохов равновелик и как художник, и как композитор. Да, да, я не оговорился, именно как композитор, как режиссер даже, настолько в его произведениях изглубинно дает о себе знать исключительное чувство соразмерности и взаимослаженности малого и великого, частного и целого, дает знать отнюдь не в механическом и даже не в химическом, а, скорее, в биологическом, так сказать, проявлении. Что ни говори, а большая литература — это все-таки биология, а не химия.

Перечитывая «Братьев Карамазовых», я вдруг однажды поймал себя на том, что передо мной не роман просто, а еще и некая развернутая формула,

на что-то. Он даже не Карамазов вовсе. Он не только как сын — незаконнорожденный, он незаконнорожденный и как человек. Он не имеет права ни на совесть, ни на мысль, ни на страсть. Во всяком случае, это уже в нем никто и никогда не признает. А раз так, значит, он не имеет права и на ответственность. Остается единственное — месь за бесправие. Этим Смердяков и воспользовался. А ответственность за это как бы по воле случая несет без вины виноватый Дмитрий.

С точки зрения сугубо правовой происходит чудовищная ошибка, а с точки зрения художественной, нравственной, наоборот, обнаруживается еще один неожиданный поворот: а что, собственно, есть суд? Да, официальный судом Дмитрий осуждается, но зато судом нравственным — судом совести и наивысшей правды — он не только оправдывается, но и вознаграждается даже. И награда эта самая великая — любовь. На каторгу вместе с Дмитрием по собственной воле отправляется и Грушенька. Иван же, до цинизма подчеркнута отвергающий совесть, в конце концов сходит с ума. Отсюда вывод: бесправное неподсудно, поскольку оно са-

бе всего казачества; большевики же — Давыдов, Нагульнов, Разметнов, — до поры мало что знающие о заговоре, как бы случайно в критический момент локализуют этот взрыв до взрыва ручной гранаты и пулеметной очереди. Гибнут Давыдов и Нагульнов, а Советская власть, дело Советской власти остаются неизблемыми. Налицо, как видите, почти математически точный расчет, логическая спираль замысла. И обнаружить этот замысел в чистом виде почти невозможно. Настолько он органичен во всем. Так же органичен, как, скажем, всевозможные соки в обыкновенной почке — соки яблока, ягоды, зерна...

Говорят, что роман «Поднятая целина» в чем-то уступает «Тихому Дону». В чем-то, да, согласен. В объеме, скажем, в разности ситуаций, в ином накале времени. Там — сразу две войны подряд: первая империалистическая и гражданская, а тут — мирное время. Мирное, но тоже по-своему ой как, до боли переломное, остроклассовое... Тут, конечно, в чем-то уступка неизбежна, согласен. Но чтобы в главном, в художественной полноценности уступка — никогда! В самом деле, чем, скажите, Лушка как образ холодней и бледней Аксиньи? Да ничем. У каждой

общий образ, стоит их общая великая идея.

Нагульнов же — тот больше казак, рубака-романтик больше, мечтатель в мировом масштабе. Он все с рывка хочет взять, сразу. Жажда немедленной справедливости, как взрыв какой, днем и ночью до петухов топорщится в нем. Собственно, поэтому он и горяч не в меру и не в меру глобально нетерпелив: подай ему мировую революцию — и все!

Ровнее всех Разметнов. В нем хоть и нет большой яркости и особо выдающихся черт, зато в нем есть надежная повседневность, обстоятельность в деле. Ритм и лад его характера располагают больше к строительству, к мирному делу на земле. Он как бы одновременно и пролетарий, и крестьянин-казак. За ним — будущее.

Мудреней всего образ деда Щукаря. Оглядываясь в памяти все, что прочитал когда-то, — аналогов не вижу. Не вижу ни в отечественной, ни в зарубежной классике. Юродивый Пушкина из «Бориса Годунова»? Дон Кихот? Кола Брюньон? Шуты разные?.. Отчасти, да, но только отчасти. До полной расщепленности пока еще очень далеко. Скорее всего, как мне кажется, Щукарь — это такой особо замысловатый образ, в

немую. Все — в образе, все — внутри поступка, глагола, все — внутри сюжета. Вывод, что к чему, остается за читателем. И тут, на мой взгляд, особенно примечательны следующие два эпизода. Первый — это приезд нового секретаря райкома Нестеренко в поле, на пахоту, и его по-мальчишески озорная борьба с Давыдовым там же, на пашне. Читаешь этот эпизод и с радостью отмечаешь про себя: вот это действительно настоящее товарищество! Не дружба, нет, а именно товарищество. То, которое с большой буквы. То, перед которым все равны и вместе с которым все без исключения свободны. Это и есть чувство святого равенства! Поэтому никто не имеет права в обычном человеческом общении завышать себя над другими. Чрезмерная заозначенность, чрезмерный теневой напуск на лицо ради вящей значительности и должностного престижа — не в нормах истинного товарищества: какой бы ты пост ни занимал, можешь между делом и поозоровать — «ничто человеческое не чудно», по Марксу: можно и на коньках покататься, помериться силушкой с другом, пошутить, поиграть с детьми...